

ГРИГОРИЙ СПИЧАК



ТРИНАДЦАТЫЙ ВАГОН

РАССКАЗ

Была середина декабря. Поезд Москва—Воркута шел на север. Тринадцатый вагон. Я не боюсь и никогда не боялся числа “13”. Не действует оно на меня. Вообще не действует. Но вот поезд Москва—Воркута. Под Микунями минус 40, ближе к Чинья-Ворьку минус 43. В вагоне плюс 13, плюс 11, плюс 8... Уже никто не спит. Уже плачут дети. Уже даже пьяные бандиты и горластые мамочки не орут на двух молодых проводниц. А проводницы уже не синие, а белые.

— Ребята, кажется, крындец. Мы приехали в Послезавтра... — шутит молодой белообрый парень. В вагон он сел в Москве без шапки и в болоньевой курточке.

— Подруга, давай мы детей распихаем в другие вагоны. В натуре ведь перемерзнут, как утята, — предлагает проводникам парень с синими от татуировок пальцами и железным зубом во рту. — Короче, я пошел базарить...

— Базар-вокзал, — уныло хохотнул его напарник.

— Водку оставь что ли, — просит “болоньевый” парень.

— Да, конечно. Не умирай... — “синий” оставляет треть бутылки и уходит.

Вагон наполняет туман, как в фильме ужасов. Гаснет свет. Мерцают сотовые телефоны. Они работают как фонарики, потому что под Чинья-Воры-

СПИЧАК Григорий Иванович — родился в 1960 году в г. Емва Республики Коми. После школы работал электриком, отслужил в армии на Дальнем Востоке. Закончил в 1986 г. филологический факультет Сыктывкарского университета, работал учителем в сельской и городской школах, в республиканских газетах. Автор трех сборников рассказов, сборника стихов и романа “Цитала. Украденный посох”, вышедшего в 2009 году. Печатался в журналах “Наш современник”, “Север”, “Колокол” и альманахах. Член Союза писателей России. Живет в Сыктывкаре.

ком связь только у МТС. Сотовые освещают лица людей снизу и в тумане, а потому призрачным становится все.

— Это из-за ветра, — еле шевеля губами, говорит проводница. — Ветер и минус 40 — конечно, ничего не выдержит...

— Черная пурга, — брякает кто-то из темноты.

— Не-ет, это еще не черная. Я черную пургу в Нарьян-Маре пережил. Если б была черная, то мы бы уже не разговаривали — при ней глаза замерзают сквозь веки... А это так — ветерок да плюс движение поезда...

— Ну да, счас и минус 35 без ветра жарой покажутся...

— Ха-ха-ха... Ну, ребята, уходим все отсюда. В любой вагон...

Проводница поясняет, что идти надо будет через три вагона: “Три раз-морозились...”.

Мы идем с чужими детьми и вещами “на закорках” и в руках, с водкой и смехом, с матом и “модернизацией” правительственных программ. У купе проводников толчея. Градусник показывает уже минус 18 в вагоне. Часть пассажиров просят вернуть билеты, надо отчитываться по командировкам в своих бухгалтериях. Проводниц, на которых орал полночи, мы уже все жалеем. Пьяный мужик с коми акцентом оставляет проводнице ядреную шапку. Лиса, наверно, или какой-то крашенный и крутой енот.

— А-а, у меня еще кашошон есть. А ты не стесняйся, я ж не вшивый, — мужик щерится своим шербатым ртом. — Увольняйтесь с такой работы! Здесь и сто тысяч — не зарплата. Здоровье дороже.

“Пока-пока...Спасибо, девчонки. Не умирайте...”. Хорошие у нас люди. Только вагон вот 13-й... Но ведь их много. И вагонов, и хороших людей.

ВЫСТРЕЛЫ НАД СТАРИЦЕЙ

РАССКАЗ

Ружье мне отец подарил в первом классе. При этом он строго наказал, чтобы я каждый раз, когда беру его, иду в лес или еще куда, предупреждал его об этом. У меня сейчас три сына, но я не смог бы доверить ружье ни одному из них даже в пятнадцать лет. Может быть, и они вполне разумно пользовались бы оружием, но у меня не хватает духу — мир другой, ответственность другая, тревожно вокруг, и нет у моих мальчишек простой крестьянской основательности.

Впрочем, наверное, это наши отцы проще относились к оружию, к возможной смерти, и сама тревога о детях была у них какая-то другая.

А когда мне не было еще пятнадцати, в конце восьмого класса, майским вечером мы с одноклассниками Витькой Кудиновым и Геной Вахрамеевым решили уйти в ночь на открывшиеся ото льда старицы. Летела утка, и молва по нашему лесному поселку шла уже вовсю: и что дядька Иван Ковальчук на прошлой заре двенадцать штук набил, и что братья Козловы два рюкзака утей нагрохали, мать их отгулы взяла — весь день ощипывает... Азарт поднимал и мужиков, и пацанов. Впереди были выходные дни — День Победы и с ним суббота с воскресеньем.

У Виталия с Геной ружья были получше моей берданки: “ИЖ” шестнадцатого калибра у Генки и “зауэр” двенадцатого — у Витьки.

У Витьки вообще вся амуниция была основательная. Нож, выточенный из тракторной рессоры, больше похожий на спартанский меч, рюкзак с шестью карманами; картонные литые и цветные гильзы патронов — все было редким, каким-то боевым — настоящим!

Взрослая жизнь пахла для нас тогда папиросами “Север”, порохом и оружейным маслом, кожей патронташей и дымом костров. Попивали мы на рыбалках и охотах и водочку. А как же — мужики ведь прихватывали с собой чекушечки, прихватывали и мы...

Витька — крепьш, взбитый молодой казачок. Мать Витьки приехала в наш поселок беременная им, когда его отец сидел в лагере Княж-Погоста за убийство милиционера. Случилось это на далеком Дону, и еще неродившийся Витька поехал к отцу на Север. У Генки, наоборот, отец был милиционером. Правда, тихим и унылым. Дядя Толя казался нам всегда молодым стариком. Он был начальником районного вытрезвителя, молчун, небрежно и неизвестно зачем одетый в форму. Майор Вахрамеев имел привычку сосредоточенно смотреть под ноги, будто что-то ищет, печалится или таким образом прячет от людей глаза. Гена — прямая противоположность отцу. “Пустосмех” — звала его моя бабушка, потому что хохотал он по любому поводу. В спорте он всегда пытался быть первым. Гена и вправду очень хорошо бегал, занимался гимнастикой, а на охоте все время дразнил нас курильщиками и чахоточниками. Сам не курил...

От старицы, берега которой с одной стороны были густо заболочены, а с другой неровно заросли ивняком, мы отошли не слишком далеко — метров на триста. Нас от нее отгораживал еще и молодой ельник, и поэтому мы надеялись, что перелетная птица — гусь или утка, — заходя на старицу со стороны реки, нас не увидит. С другой стороны от нашего костерка был высокий и довольно крутой склон, который когда-то, вероятно, был берегом. Может, лет триста назад, а может, и всего-то пятьдесят-шестьдесят. Но русло реки ушло на полкилометра западнее, оставило старицу-озеро, заливаемое вешними водами, и этот берег-террасу высотой метров в двадцать.

В мае ночь темна всего-то два-три часа. Еще недельки три — и совсем белые будут стоять ночи, благодатные для мошки и овода, позволяющие птице высидеть яйца и вскормить молодняк до первого пера.

Костер горел. Домашние бутерброды были съедены нами уже к полуночи — и съедены с таким неистовством, будто мы на свежем воздухе весь день валили лес без обеда. Чекушечку мы тоже выпили. Рассказывали друг другу байки — больше из охотничьих былей отцов и соседей (своих-то было еще немного...). Уже и темно стало, а все не спится. Сидим тихо. Пьем крепкий чай. Мечтаем об утренней удаче. Вот бабахнуть бы штучки по три утки, а?.. Если ж гусь подвернется — совсем здорово!

Два самых темных часа прошли быстро, за высокой террасой на востоке стало сереть. А вместе со светом накатил ключковатый туман и какой-то колючий, едва слышимый, лай собак. Напряглись мы уже через несколько минут — лай стал громче, злее и жестче. Это не ленивый лай собак где-то на ближних дворах поселка. Это не растерянный лай потерявшейся лайки — нет, этот был густой, хрипящий в три глотки.

Ближе, ближе, ближе...

И тут мы увидели его... Мы вспомнили утреннее объявление по районному радио: “Из исправительно-трудовой колонии поселка Синдор бежал особо опасный заключенный (далее шли особые приметы), осужденный за убийство, предположительно вооруженный охотничьим обрезом”.

И он увидел нас. Ружья у него не было. Он несколько секунд смотрел на нас, стоя, согнувшись, как обезьяна, на самой кромке берега. Витька рванул на себя ружье. Зэк то ли погрозил пальцем, то ли так отчаянно затряс рукой — дескать, не балуй! Прошу — не балуй! Витька кивнул и очевидным жестом показал, что откладывает ружье. Зэк исчез.

Лай прогремел прямо над нашими головами. Собаки шли по следу, не отвлекаясь на дым нашего костра: дрессированным, им не помешали даже аппетитные запахи картошки с сыром. А еще через минуту мы поняли, что тот отчаянный дядька, похожий на обезьяну, в куцей телогрейке, кажется, попался. Нет, на самом деле он еще не попался, но он не знал, что перед ним старица, а не река. И впасть — глупо, и в обход уже опоздал...

Южнее нашего костра метров за триста собачий лай скатился по склону и застрял где-то между ельником и ивняком. Клоками летящий над ивами туман казался лохмотьями того самого лая.

— С пригорка!.. Выше поднимись, Андреев, выше... — услышали мы солдатские голоса. — Видишь его?!

— Ага! Вот он! ...Стой!

Траийх! Грохнул выстрел, и эхо прошелестело — “..ийх — ийх — ийх!!!”.

— Видишь?.. Где он? Дай направление!

А сверху кричал удачливый загонщик Андреев:

— У самой воды! Возьми чуть правее... Выходи, гад! “Траайх!!!” — ударило совсем близко; “ийх-ийх-ийх!” — хохотнуло эхо.

Громко плеснулась вода. “Пошел! Уходит! В два ствола. Очередями, Андреев!!!”. Загрохотало, и сквозь разорванную тишину, скулеж овчарки и возмущенное эхо мы слышали: “Ушел ведь! Ушел!”. Тявкнула еще пару раз собака. Наверное, с минуту было тихо. Мы стояли и молча смотрели друг на друга. Казалось, что все удаляется, почти исчезло, что мы их больше не услышим. Но одиночный выстрел с верхней террасы грохнул, как точка. Все-таки выстрел выстрелу рознь. Мальчишечье чуткое сердце услышало в самом выстреле эту разницу.

Неведомый Андреев, видно, хорошо целился. “Есть! — рывкнул он с берега. — Есть... Есть... Вон плавает. Щас зацепим с того берега!” — крикнул он своему напарнику.

Убитого эка мы не видели. По заболоченному берегу старицы бродили и чавкали сапогами солдаты. Появились еще двое. Когда мы поднялись на террасу, прямо на нас выскочила овчарка. Гавкнула беззлобно — и убежала.

Домой мы уходили не по берегу и не с уточками, как мечтали (какие тут уточки!), а лесом — по просеке высоковольтной линии. Брели, почти не разговаривая.

— У каждого своя охота, — пытался умничать Витька. — А на нас хоть бы рябчик для души вылетел.

— Да ну, — буркнул Гена, — тошно что-то. Для души-и... — гнусавя, передразнил он Витьку. И попросил закурить наш некурящий Гена.

Согласный с ним, сел на соседний пенек, курил и сопел обиженный на солдат Витек. Дым сигареток не растворялся, а будто висел космами. Как туман над старицей. Тогда, когда расстреляли человека и тишину...

ПОРТРЕТ МУЖЧИНЫ

РАССКАЗ

— Я мужчин сразу вижу. Мужика сразу видно. Даже только по одному его взгляду на себя... В зеркало... — Эльдар Нуриджанов бубнит мне в макушку, шелкает ножницами и джигитует блестящей расческой с длинной узкой ручкой. Эльдар — парикмахер, научившийся колдовать над человеческими головами еще в детстве, в своем родном Дагестане. Движения его рук неуловимы, угловаты и резки. Кажется, что даже татуировка на руке Нуриджанова — закольцевавшаяся вокруг кинжала змея — даже она угловата, хищна и бесконечно неуловимо танцует своими кольцами.

— Мужчина — если он мужчина — всегда дисциплинирован. Он посмотрит на себя в зеркало и убирает взгляд... Только женщина бегаёт в зеркале своими глазами туда-сюда. Или не мужчина — мальчик... Он тогда ищет в зеркале — чего же ему не хватает до мужчины? Взгляда не хватает. Мужского и короткого...

— Вы философ, Эльдар, — говорю я ему, при этом мне сразу хочется добавить “и психолог”, но я не добавляю. Потому что было бы правильное сказать наоборот:

“Психолог вы, Эльдар. И еще, кажется, философ...”

— Э-э! — взмахивает ладошкой Эльдар. — Какой философ, э? — Ему понравилось, что его так называли. — Столько людей ходят туда-сюда, столь-

ко людей смотрят в это зеркало, столько седых волос я здесь настриг, что вся мудрость у меня в пальцах осела. Ты вот в зеркало на мои руки смотришь. Почему? А потому, что я не головой, а руками думаю...

Эльдар явно засмутился от слова “философ”. Его, наверное, никто так не называл. Он чуть-чуть стал суетливей и в руках, и в словах, проявился акцент.

Нуриджанов “отсидел” в коми лагерях восемнадцать лет. Сначала он получил от прокурора Махачкалы “червонец” за убийство двух человек в уличной драке, потом три года ему добавили за глупый и безнадежный побег из синдорского лагеря, а последнюю “пятилетку” режимный прокурор “выписал” ему за поножовщину в зоне уже в Княж-Погосте.

Нуриджанов освобожден в 1990 году, вышел за забор лагеря, пошел на железнодорожный вокзал, но на остановке соседней автостанции увидел пьяненькую женщину — он пошел за ней, сел в автобус и уехал в деревню. А через полгода с трезвой молодой женщиной переехал из деревни в город.

“Я ей сказал: будешь пить — убью! Теперь не пьют. И я не пью, — рассказал Эльдар. — Женщину воспитать надо. Если мама не воспитала, то кроме мужа никто этого не сделает. Конечно, бывает и муж, как мальчик. Надо воспитывать...”

А про далекое свое преступление он вспомнил при мне лишь однажды, да и то — скороговоркой. “Мне не стыдно. Я был прав. Повторись все сначала, я бы все равно их порезал. Может быть, с той лишь разницей, что сейчас порезал бы не до смерти...”

Сапожник-инвалид, семидесятилетний дед Семен Трах-Кувырочек (получивший прозвище за свою присказку “трах-кувырочек” по любому поводу) еще из лагерных “вестей” рассказывал, что Нуриджанов в молодости заступился за сестру и мать, которых оскорбляли и лапали два проходимца. Молодой Эльдар, как это и положено на Кавказе, схватился за кинжал...

Танцуют ножницы Нуриджанова над моей головой, мелькает, как сабля, длинная блестящая расческа. Философствует Эльдар. Мимо рук глядят его глаза, мимо металла в зеркале — в мою голову. Его глаза не карие, как это бывает у большинства кавказцев, а стальные, с зеленым блеском внутреннего южного характера, которого за двадцать с лишним лет жизни на Севере осталось в сердце Эльдара, наверное, совсем немного. Он носит это тепло в себе, кутая где-то за сердцем, как пиалу в своих душевных ладонях, боясь расплескать, боясь показать дурному смешливому глазу, боясь ненароком пролить в пустоту.

— Настоящий мужчина в зеркале видит ошибку. Мальчик видит победу. Или играет в мужчину... Женщина... Э-э! Женщина — это другой разговор. Она видит в зеркале не себя...

Что видит в зеркале женщина, Нуриджанов не рассказывает. Наверное, он не считает это важным для нашего разговора. Темп его речи начинает замедляться, и вот он становится уже медленнее движений рук.

Я однажды стоял на автобусной остановке и видел, как по другой стороне улицы медленно, чуть насупившись, шел с женой Эльдар. Она — невысокая, рыженькая женщина — что-то говорила, говорила ему, он кивал головой медленно, казалось, что он следит за траекторией слов женщины и хочет понять: зачем эти слова летят в ту сторону? Зачем они вообще куда-то летят? Но потом меня осенило — да ведь Эльдар ее вообще не слушает! Он слушал и внимательно следил за собранной своей душой, за пиалой, спрятанной за сердцем. Он нес ее — нес себя, как дисциплинированный, стянутый кожаными ремнями кулак бойца-рукопашника. Опрокинутый, раздавленный жизнью и рассыпанный человек, он сумел снова собраться в человека. И он знал цену этому собиранью. Может быть, поэтому он сейчас философствовал, сверяя в разговоре со мной свои наблюдения, сомнения, и сбрасывал раздражение, накопившееся по тысячам разных мелочей. Да, он говорил со мной. Ведь в очереди к нему, к парикмахеру Нуриджанову, я переждал четверых. Ни с кем из них он не говорил. Хотя все четверо знали его, и он знал их.

— Почему в трудовых книжках пишут место, где сидел человеческий зад? Почему не пишут о том, что делали человеческие руки? Что держали

они? Мужчина должен носить в руках воду, женщину и автомат. Когда мужчина портится, он начинает держать рюмку, женскую грудь и ключи от чужой квартиры...

— Ну, Эльдар, насчет ключей не знаю, а как же мужчина без рюмки и без женской груди? Ты же из Дагестана. Там же вино и...

— Э-э! — Нуриджанов взмахивает рукой и уже всерьез кипит. — Я сейчас одну ягоду укушу и сорт скажу. У меня отец по прошлогодней листе сорт винограда мог сказать... Там каждый мальчик умеет воду носить... Нет. Сейчас обманываю — сейчас уже и там мужчины испортились... Но все равно: судьба человека — это судьба человеческих рук. Вот смотри...

И тут мне Эльдар показывает на маленькую икону Николая Чудотворца, которая на его парикмахерском столике, заставленная и незаметная, стоит между створками зеркал.

— ...Видишь, что показывает Николай? Он руки показывает. Языком можно обмануть. Руками не обманешь. О Боге сейчас много говорят, а лбы крестят совсем мало. Мужчина лоб крестит, когда он, наконец, набрался мужества узнать мужество.

Я вижу в зеркале, как в коридорчике крупный седовласый мужчина кивает головой на слова парикмахера. А глаза его становятся библейски печальными, глубокими и опрокидываются куда-то за окружающее нас скучное пространство парикмахерской.

— Вы же мусульманин, Эльдар. Или нет? — спрашиваю я Нуриджанова, но спрашиваю не потому, что меня интересует, какому богу он поклоняется. Спрашиваю потому, что я поражен неожиданным поворотом рассуждений и неожиданным вниманием к вещам, казалось бы, привычным, к образам, которые давно запали в душу и в сознание, как что-то целое. Забытая детская тщательность и вглядывание в жизнь были в словах азербайджанца Нуриджанова. (Впрочем, чего это я решил, что он азербайджанец?) Там, в Дагестане, сто двадцать народов живет. Кто он, парикмахер Эльдар?

— У вас в Дагестане, наверное, все народы мусульмане? — Я, кажется, бессознательно стал извиняться за свои неумные вопросы.

— Все, кроме русских... Зачем так спрашиваешь? Человек в Бога верит не так, как ты говоришь: эти мусульмане, а эти немусульмане. Человек в Бога верит и исповедует его! Зачем сравнивать, как ты думаешь?.. Я не знаю, я запутался, как правильно Бога называть, но я люблю Его слушать.

Эльдар зыркнул на меня через зеркало и нахмурился. Он не хотел говорить последние свои слова, они сами выскочили, и теперь он, кажется, немного расстроился. Хорошо хоть, что стрижку мою уже закончил. А то руки его прямо на глазах становились неловкими, будто парикмахер спешил их спрятать.

Может быть, я был свидетелем того редкого случая, когда в монологе человек обнажил внутренний бесконечный спор с самим собой о том, что Бог, если он даже один, почему-то по-разному учит жить разные народы. Спор о том, что молодость в Дагестане и зрелость в Коми никак не могут принять друг друга в одной душе, терзая мысли, которые никогда не уложить в общую прическу. Только бесконечно ошибаясь и набираясь сил, чтобы застолбить и признать ошибку, можно строить душу в самых безнадежных вариантах ее существования. Чувство всегда зыбко. Мысль всегда хрупка. Даже если ты мужчина и мужественный человек.

Наверное, поэтому речь и мысль, и чувство человека отражаются в руках. Они тогда говорят о многом. И не только ЧТО сделано, но и КАК это сделано и прожито. Сидя перед одним и тем же зеркалом, на одном и том же кресле и в одной и той же комнате, люди видят в нем слишком разные отражения. Или правильнее было бы сказать — слишком по-разному их не видят...

— Спасибо, Эльдар, за работу, — сказал я ему, еще сидя в кресле. Я хотел сказать ему спасибо за беседу о мужестве, но это "спасибо" услышали бы в коридоре. Я не хотел этого. Как Эльдар не хотел сказать последние свои слова. Впрочем, мы встретились с ним быстрыми взглядами и, кажется, поняли друг друга.